**Значимый кусок моей жизни**

Я родилась в Ленинграде. Когда началась война, мне было 11 лет, поэтому я практически все помню. Мама прожила до 90 лет, она родилась в 1902 году, папа – в 1904-м. Папа воевал, мама – блокадница, перенесла дистрофию. Папа в Питере с дореволюционных времен, он мальчишкой помнил, как моя бабушка в Питере служила у господ кухаркой, но он не мог жить с ней, поэтому обретался где-то один, мальчишкой в 12-13 лет. А мама переехала в Ленинград в конце 20-х годов. Она родилась под Вологдой, а потом ее семья жила в Петербургской губернии, не в самом Петербурге.

Отца звали Владимир Ананьевич, редкое отчество. Своего отца он не помнил, потому что тот умер, когда он был маленьким. А мама — Антонина Ивановна, вот ее фотография, закончила, а может, и не успела кончить в Пскове гимназию перед войной, она работала в магазине музыкальных инструментов на Невском.

Дедушку, Ивана Давыдовича, маминого отца, раскулачили в 30-е годы. Он латыш по происхождению, но уже обрусевший: как уехал из Латвии в 17 лет, так и жил в России. У него был хутор под Петербургом, в1912 году он имел возможность взять займ в крестьянском банке, до этого служил управляющим у князя. У него были золотые руки, поэтому он построил себе дом, завел хозяйство. Мама рассказывала, когда начались 20-е годы, что их семью не трогали, потому что у них на хуторе перед революцией какое-то время скрывался революционер. Никто из его пятерых детей с Латвией связан не был. Бабушка была русская, из Вологды. Трое сыновей разъехались на работы в Питер, а дедушка для колхоза был старым, всю землю и хозяйство у него забрали. Все его три сына, мои родные дяди: Иван, Владимир и Виктор погибли в Великой Отечественной войне под Ленинградом.

Дедушка умер до войны, я его только раз видела. Один из сыновей ездил хоронить, мама не могла поехать: она тогда была беременна моим братом.

Отец работал на фабрике парфюмерии «ТЭЖЭ». Не знаю, что он там делал, но в доме всегда пахло парфюмерной эссенцией. В 1941 году ему было 37 лет, он уже до этого воевал в Финской кампании в 1940 году, и я помню, как тогда затемняли окна. Отца мы с братом в начале июля 1941 года провожали до военкомата, он ушел воевать. Вначале он был на Ленинградском, а потом – на Северном фронте. На границе с Норвегией тоже были бои, так как Норвегия была в союзе с Германией.

В июне 1941 года я была на каникулах, родители снимали дачу. На Финском заливе есть такое местечко Лисий нос. Мы не так давно переехали, все-таки начало лета, июнь. Это было воскресенье, приехал отец, и мы пошли гулять на Финский залив. Был очень солнечный день, правда, ветреный, мы еще не купались. И когда пришли, там, на берегу, люди передавали друг другу: «Молотов что-то говорит». Мы вернулись. Около дома, где мы снимали комнату, стоял столб с радиорупором, народ собрался вокруг и слушал сообщение Молотова о войне. Отец тут же вернулся в город. А мы остались, так как еще не знали, что делать. Ну, думали, финскую войну пережили, и эту переживем. А отец должен был сразу идти в военкомат, так как возраст еще призывной. В соседнем доме жила моя крестная, тетка родная, сестра моего отца. Она сказала, что нужно собираться ехать в город, потому что идут переполненные электрички (она жила ближе к станции). Я помню, прохладно было, и я чужую кофту надела с длинными рукавами. Когда приехали на Варшавский вокзал, оттуда пешком шли. Было еще светло, продолжались белые ночи. Я увидела накрест заклеенные окна, а в небе – первые аэростаты. Для меня это было так странно. Это было первое впечатление того, что жизнь изменилась.

В школу я пошла в семь с половиной лет. До войны я закончила четыре класса. У меня даже есть фотографии довоенные, в школе снимались, смешные такие — первый класс и четвертый класс. Когда началась война, мы должны были идти в пятый класс, но уже не пошли, потому что в этот учебный 1941/1942 год не учились.

Эвакуировались крупные предприятия, и с ними уезжали семьи. У моего мужа мама – врач, она на военном положении была, и его одного со школой в эвакуацию отправила, еще был июль, не замкнулось блокадное кольцо. И я помню, что моя подруга уезжала с Мариинским театром, у нее там мать играла в оркестре. А мы в растерянности: отец был далеко, мама ему звонила, спрашивала, что делать. А он говорил: «Ну, финскую же пережили!». И нам не к кому было ехать. Так мы остались в блокаде.

Кто был приписан к школе, мог эвакуироваться. Но пропустили бы только детей, а родителей оставляли в городе. А потом уже могли и всей семьей куда-то отправить, потому что положение ухудшалось. Понимали: если одних детей отправить, они не спасутся.

Бомбежки начались с сентября. Первая бомбежка была 8 сентября или накануне. Помню, была лунная ночь, рядом разбомбили шестиэтажный дом, а у нас в доме все стекла выпали. Слышались стоны людей, их откапывали, а наш дом оградили на следующий день. Занимались откапыванием девушки-сандружинницы из ПВО. Из разбомбленного дома торчали всякие деревянные перегородки, и люди ходили их пилить на отопление. И мой брат с пилочкой тоже туда ходил.

При бомбежках шли в подвал, который и был бомбоубежищем. Очистили подвал от дров (дом у нас отапливался дровами), и когда ночью по радио объявляли воздушную тревогу, мы в темноте по лестнице спускались с 6-го этажа в этот подвал и ждали объявления отбоя тревоги. Брали с собой сухари и документы. Помню, только один налет закончится, и снова налет, и опять налет – один за другим. Потом уже невозможно стало ходить, силы убывали. Мы понимали, что могут дом вместе с нами разбомбить, ну что ж делать…

Продукты пропали не сразу, была какая-то крупа, картошка. Понимали, что война, и делали какие-то запасы. Я помню, меня посылали в магазин, народ был непривычный к таким огромным очередям — стояли друг на друге. И вот я помню: баночки с крабами! Крабы – это теперь деликатес, а тогда народ ел селедочку, а крабы и не раскупали. Потом продукты стали поступать в магазины ограниченно, появились карточки, где учитывали возраст. Рабочим давали карточку рабочую, служащим — служащую, мама имела такую карточку, бабушка – иждивенческую, я и брат – детскую, а потом иждивенческую, и постепенно, к ноябрю где-то, дошли до того, что вместо 150 граммов хлеба стали давать еще на 25 граммов меньше. А потом началась зима, и к этому голоду прибавились еще и жуткие холода. А жили мы на шестом этаже без лифта.

Мама работала в небольшом цехе «на военном положении», дежурила там круглосуточно. Тогда была еще жива бабушка Павлина Сергеевна. Бабушка умерла от голода. Как она умирала, я помню. А когда она умерла в январе 1942 года, ее долго не хоронили, чтобы можно было воспользоваться ее карточкой. Тогда была очень холодная зима, до — 40 градусов, и везде было холодно: в комнатах, на кухне. От холода мы лежали с братом в пальто под одеялами. Лежали прямо в пальто, в зимних шапках, надо же было как-то согреваться. Окна были забиты фанерой, потому что все стекла вылетели, и в этом холоде ждали, когда придет мама.

А потом я уже сама стала ходить за хлебом, в очереди стояла. В очередях на ком плед, у кого одеяло, и чумазые все, потому что для освещения были только коптилки – металлические баночки с продернутым фитильком.

Ребенком тогда считали до двенадцати лет, давали детскую продовольственную карточку. Ни воды не было, ни электричества. Нечем было поднимать воду, внизу в подвале вода была, там были краны, и ходили вначале в подвал за водой, а потом ходили на другую улицу, так как была такая суровая зима, что вода в подвале замерзла. За водой выстраивалась очередь. Да и сколько можно было принести в кувшине? У нас городских жителей даже ведер не было. Мы с теткой (мы вместе жили) ездили за водой на Неву несколько раз. Кто-то помогал черпать, и потом мы на саночках везли. Поэтому расход воды был ограничен. У нас была буржуйка, печь такая с трубой, и нужно было чем-то ее топить… Когда мама еще ходила, она на толкучке меняла вещи, чтобы достать нам хоть чашку крупы, вязанку дров.

Мы не уехали Дорогой жизни, боялись, что замерзнем, так как машины открытые, потом уже думали, что весной, когда растает Ладога, на барже поплывем. У нас уже были прикрепительные талоны, мы приготовили сшитые из наволочек мешочки и должны были уже уехать, но на Ладоге штормило. Пять дней был шторм, и баржи не выпускали: они могли затонуть. А за это время мать свалилась совсем, у нее даже отек на голове был, и ее взяли в госпиталь. Тогда не больницы, а госпитали были на базе больниц. В Мариинском дворце был госпиталь, и мы, школьники ходили читать стихи и выступать перед ранеными. В госпиталях лежали не только военные, но и люди, пострадавшие от блокады. Моя мама пролежала там полгода. Нас уже хотели отправить в детдом, но тетка взяла над нами опекунство, чтобы мы не потерялись в разных детдомах. А мама была совсем слаба. Один раз санитары хотели уже уносить ее… Ее стали лечить бактериофагами, иначе никакие таблетки не помогали, потому что уже была запущенная стадия – кровавый понос. После этого ей стало лучше, а была, как скелет. Потом я смотрела в ее трудовой книжке: по длительности болезни маму списали уже, и она была не в рабочей категории.

Все нечистоты выбрасывали на улицу, кто из окна, у кого сил не хватало, кто выносил, на лестнице все загажено было. Снега было много и улицы не чистились. Бывало, я видела: прямо около нашего подъезда сидит человек, весь остекленелый, и поднять его уже невозможно.

Поскольку ничего не убиралось, по весне могла начаться эпидемия. Если в карточке было помечено, то нужно было всем, способным держать лопату, чистить снег. В нерабочее время нужно было отработать на очистке города. Был издан указ, и все чистили. Рабочий день в связи с этим, конечно же, не сокращался. В основном, это были женщины. Ленинград выстоял на сорокалетних женщинах, потому что подростки не выдержали голода, стариков на фронт уже не брали, как могли, они что-то делали, но в основном трудились женщины. Двадцатилетние сандружинницы ПВО умерших вывозили, детей забирали, когда умирали их родители, их нужно было устраивать, обходили квартиры, проверяли, кто есть живой. Наш шестиэтажный дом стоял почти пустой.

В марте 1942 года пошел трамвай. Это было событие! Ведь транспорт стоял, только пешком ходили. Например, человек работал на Кировском заводе, а семья у него на другом конце города. Телефон не работал, он не знал, жива ли семья, и семья не знала, жив ли он.

В 1942 году весной нам дали талоны в баню. У нас была баня, но она не работала. И вот весной заработали бани. Но пускали туда не всех, а по талонам, сколько могли пропустить. У нас в районе были Усачевские бани, мы туда раньше ходили с мамой. И вот мы пришли, разделись: все желтые, костлявые. Мылись в одном банном помещении. Особо жары не было, но все-таки не холодно, две или три шаечки горячей воды можно было использовать. Разделение было на две стороны, в одной стороне мылись женщины, а в другой – мужчины. Тогда баня стоила примерно 10-20 копеек, теперь мылись просто по талонам.

Я уже сказала, что были трудности с водой. Вода наверх не поднималась, а на моем попечении был 8-летний брат. Когда было тепло, стирать и полоскать ходила на улицу. Из люка шла чистая вода, и я брала тазик и так стирала. Тогда на нашей улице был не асфальт, а булыжники, и трава зеленела. А потом одежду проглаживала, потому что были вши, потому что не мылись.

В мае 1942 года нас, детей, кто остался в этом районе, стали обходить, чтобы собрать в школу в новом учебном году. Нашим директором школы была Анна Ивановна Баландина, ставшая потом очень известным педагогом в Ленинграде, а завучем — Виктор Евгеньевич Костин, он русский язык и физику у нас вел. Светлая им память!

В сентябре мы пришли в здание бывшей гимназии. В классе у нас была большая печь. Зимой мы сидели в пальто, у нас замерзали чернила. Подходили к печке погреть руки. И все были такие голодные. В школе давали суп из хряпы, это такие зеленые капустные листья, и еще сырники-шроты, а мы решили, что шпроты. А на самом деле это сырники соевые и зеленый настой из иголок елки.

И в школе, сколько могли, мы занимались, но мозги как-то не включались. Бумаги не было, не было одежды, а мы же росли… Мне дали через военкомат мальчиковые ботинки: привозили для семей военнослужащих и давали, что есть. Кто умел, перешивали. А брату тогда дали плитку шоколада и ботинки. Ботинки на вид были такие шикарные, а оказались из спрессованного картона, и, когда брат стал в них ходить, они размокли. И рубашка голубенькая, хорошая, ему подошла. Знаете, в чем мы в школе ходили? Нас учительница научила: из самодельных шнуров, из обрывков материи мы вязали себе тапочки. А что делать, если не в чем ходить?! Еще шили из ватника обувь. А у меня была такая: сверху с мехом, и я считала, что у меня очень красивые сапоги.

День прорыва блокады 18 января 1943 года был знаменателен лично для меня еще и тем, что это был мой день рожденья, мне исполнилось тринадцать лет, а брату было десять. И мы сказали, что выживем, если прорвали блокаду. Но сняли блокаду только в сорок четвертом. Блокада была снята, а въезд еще не разрешали, нужен был вызов. Некоторые уехавшие дети, у которых родители погибли, так и не смогли потом вернуться в Ленинград: у них не было вызова. Может быть, уже взрослыми другими путями вернулись.

Мама вернулась из госпиталя еще в 42-ом, она была очень слабая, ее на работу не брали. И мы с братом старались приносить ей из школы кусочек конфетки или еще что-нибудь, чтоб поддержать, потому что у нее была иждивенческая карточка. Потом она дома была, а так как она была грамотная, хорошо писала, ее взяли выписывать какие-то справки при ЖЭКе. Управдомы тогда были безграмотные. Вот она при доме работала, чтобы далеко никуда не ходить, ноги у нее были больные. А потом она бухгалтером работала на хладокомбинате. При хладокомбинате рабочим давали кусочек масла. И мама постепенно поднялась.

В 43-м я поехала на огороды (мама лежала больная). Поехать на огороды — для нас значило все-таки морковку какую-то или что-то еще в поле погрызть. Бригадир мерила шагомером, сколько мы напололи, и каждому записывала, выполнил план или не выполнил. Нас повезли вверх по Неве за Охтинский мост на катере и привезли на правый берег Невы, напротив Ижорского завода. В трех километрах были немцы.

Я была награждена медалью «За оборону Ленинграда» как активный участник сельскохозяйственных работ 1943 года. Длинные, нескончаемые грядки пололи и убирали урожай. А немцы обстреливали Ижорский завод, и там люди гибли. Через Неву вблизи нашего местонахождения ставили заградительные сети, потому что из Ладожского озера плыли мины, трупы, и все это здесь ловили. Как-то раз мы пошли мыться – а мы мылись в Неве – приплыл труп краснофлотца в тельняшке, и мы на то место больше не ходили. Немцы близко обстреливали, и мы кричали: «Мама, я хочу домой!». Думали, что они наступают. Обстрелы были, в основном, ночью. Это страшно даже представить: дети 13-14 лет и с ними только один воспитатель.

Мы жили в сельском клубе, в прошлом — кирхе, поскольку это была немецкая слобода. Внизу и на втором этаже, на хорах, были сбиты деревянные настилы, мы набивали наматрасники соломой или сеном и на этом спали. Были ночные обстрелы.

\*\*\*

В Блокаду из Ленинграда выехали и Мариинский театр, и Александринский. Во время войны здание Александринки занимал Театр музыкальной комедии, который сейчас расположен на Итальянской улице. А здание Александринского театра – самое большое из театральных зданий в Петербурге. Туда ходили на оперетту бойцы с фронта, кого отпускали. А мы, девчонки, продавали около булочной выданные нам в школе две крокетины за десять рублей, покупали на эти деньги билет и сидели на самом верху. Там шла «Сильва», первый раз прошла оперетта «Раскинулось море широко». Девчонки наши собирали фотографии Колесниковой, Кедрова, Михайлова, и в классе друг другу показывали. В оперетте бывает выход с танцами, и главная героиня – солистка Пельцер, она очень хорошо танцевала, я помню, что ей всегда хлопали. Арии из оперетт «Сильва», «Марица», «Раскинулось море широко» я потом слышала по радио. И кинотеатры у нас работали. В кинотеатре «Ударник» на Садовой мы смотрели довоенные фильмы. «Сердца четырех», «Тимур и его команда» я помню. Но если начиналась тревога, обстрел, нужно было всем кинотеатр освобождать, все выходили и укрывались кто куда. Если тревога заканчивалась довольно быстро, выжидали, может быть, продолжится кино.

Раза два я попадала под обстрел. Первый раз в трамвае. Я ехала фото делать на комсомольский билет, студия фотографии была на Невском. Мне в сорок третьем было тринадцать, и меня в комсомол приняли, хотя было положено в четырнадцать. Но всем моим одноклассникам было уже четырнадцать, а меня приплюсовали, поскольку я январская была. 13-й или 14-й номер трамвая шел по Садовой. Начался обстрел, и надо было освободить вагоны трамвая. Укрывались в парадном одного из ближних домов. При обстреле снаряд попал не в тот вагон трамвая, в котором я ехала, а в первый, и в подъезд оттуда принесли женщину на носилках, раненую, из ноги кровь текла.

А другой раз ехала через мост Лейтенанта Шмидта, и тоже начался обстрел. Кондуктор объявляет: «Освободить вагоны». А где там укрываться на мосту? Было лето, и мы ложились прямо на мостовую, лежишь, а над тобой только небо. Страшно!.. Там корабли где-то далеко стояли, и снаряды падали в Неву, а вода вздымалась, как фонтаны в Петергофе. И думаешь, что сейчас в тебя попадут.

В мае 1945-го мы выбежали на Садовую улицу, радовались, что кончилась война. Победа! А в июне возвращались войска с Ленинградского фронта, по Дворцовой площади торжественно шли со знаменами. Отец вернулся в конце 45-го, когда был еще жив мой брат Борис. Он погиб в 46-м году мальчишкой: разряжали противотанковые мины после школы, играли, высыпали порох. В Лигово еще ничего не было убрано, почти в черте города лежали ящики со снарядами, минами там огороды были. На пропускном пункте ребята сказали, что идут к мамам на огороды. С братом было еще пять человек, но погиб он один, а все мальчишки даже боялись сказать об этом. Потом сказали. Борис очень отчаянный был.

Нашей семье дали кусочек земли возле Митрофаньевского кладбища для посадки. Отец на Кировском заводе работал после войны, и ему, видимо, от завода был выделен этот участок. Кладбище было старое и запущенное, там не хоронили, и у нас там, на двух грядках какая-то морковка росла. Но это было так далеко! Пока мелкая морковка была, мы ее не выдирали, а как подрастать стала, ее выдирали те, кто жил ближе. Где-то на обочине росла капуста, но до капусты дело так и не дошло. Из первых зеленых листьев, которые еще не собираются в кочан (это «хряпа» называлось), мы щи варили. Помню, что я собирала листья в мешки, а отец вез.

Я благополучно закончила 10-летнюю школу в 1948 году с пятерками и четверками. Окончила Ленинградский государственный университет, химфак, с красным дипломом, закончила аспирантуру. В 1958 году, мы с мужем приехали в Москву, и я здесь проработала 50 лет в Институте химической физики старшим научным сотрудником. В школе нам нравилось, как химичка преподавала. Она как-то умело вела уроки и располагала к себе, ее слушать интересно было. Хотя по теперешним временам все было ограничено, потому что, может быть, химический кабинет лучше должен быть, а у нас совсем мало всего было. В те времена был больше настрой на технические науки: химию, физику, а не на филологию. Мы шли в университет: считалось, что это лучшее образование – высшее. Кто-то еще шел в медицину, но я как-то боялась идти: резать, операции делать. Меня медицина не увлекала.

Я получила медаль «За оборону Ленинграда» в 1943 году, но ее не учитывали, потому что нужно было подтверждение, что я где-то работала. Я писала, что знаю, в каком месте работала, а мне отвечали из архива, что не сохранились документы о том, что наша школа работала. Теперь, если подтверждено, что человек работал в блокаду, его считают как участника-ветерана, а это пенсия совсем другая. Вот моей подруге было четырнадцать лет, и, чтобы получать рабочую карточку, мама устроила ее на почтамт сортировать письма. И у нее сохранилась справка, что она работала на почтамте. А у меня архивная справка, что я работала и выполняла норму. В указе отмечено: если ты хотя бы один день проработал именно в блокаду: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, и награжден медалью «За оборону Ленинграда», то считаешься участником-ветераном.

После войны, кто-то из наших знакомых рассказывал, что приходил в райисполком, и ему удивленно говорили: «Вы блокадник? Все блокадники на Пискаревском кладбище». Вот такое неуважение к тем, кто выжил! В город приехали другие люди, которые не испытали всех трудностей блокады в Ленинграде, заняли места в райисполкоме. И те, кто приехали, быстрее получали квартиры, а блокадники не получали ничего.

Наш дом сохранился. Если бы тогда я приватизировать могла, я могла бы иметь квартиру, в которой родилась, но, к сожалению, тогда еще этого не было. Сейчас там живут какие-то другие люди…

Я заинтересовалась вопросом, сколько же нас, жителей, было в блокадном городе. Очень трудно посчитать, сколько жителей погибло. Когда началось наступление немцев, то весь народ из пригородов – Пушкина, Павловска побежал в Ленинград. Сколько прибежало? Сколько погибло? Подчас погибших людей скидывали в траншеи в простыне. И мою бабушку свезли в так называемые «штабеля», а потом грузили, как дрова, так как негде было хоронить. У нас в институте работал человек, который воевал под Ленинградом, он говорил, что землю на Пискаревке ничем нельзя было прорыть; ее взрывали и в траншею трупы сбрасывали. Как это страшно!

В каких условиях жили блокадники! Может быть, некоторые и на фронте столько не перенесли, сколько нам довелось перенести в этом городе за время войны. Если бы не было голода, и только бы стреляли… А когда страшный голод и такие условия… Думаешь теперь: «Господи, как это мы выжили?» В моей длинной жизни этот кусок кажется очень далеким, но он такой значимый!..